

Николай Лесков

# Владычный суд



Николай Лесков  
**Владычный суд**

«Public Domain»

1877

**Лесков Н. С.**

Владычный суд / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1877

© Лесков Н. С., 1877  
© Public Domain, 1877

# Содержание

I	5
II	6
III	8
IV	10
V	12
VI	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Николай Лесков

## Владычный суд

### Быль

(Из недавних воспоминаний)

*Не судите по наружности,  
но судите судом праведным.*  
(Иоанна VII, 24).

*Суд без милости —  
не оказавшему милости.*  
(Иакова II, 13).

## I

В 1876 году я написал маленький рассказ, который называется «На краю света» (из воспоминаний архиерея). Он имел, как мне кажется, некоторый успех. По крайней мере я обязан так думать, судя и по довольно быстрой продаже книжечки и по разнообразию вызванных ею толков. Литературные органы, удостоившие ее внимания (не исключая и одного духовного издания), отозвались о ней чрезвычайно сочувственно и милостиво, но зато частным, негласным путем мне довелось слышать иное. Некоторые весьма почтенные и довольно известные в духовенстве лица отнеслись к этому рассказу неодобрительно. То же самое высказано мне и многими редстокистами. И те и другие увидали в поведении описанного мною архиерея и миссионеров *мирволение неверию и даже нерадение о спасении души святым крещением*.

И экзальтированным мечтателям и положительным ортодоксалам одинаково не нравится, что описанный мною архиерей и миссионеры не спешили крестить бродячих дикарей, которые нимало не усвоили истин христианской веры и принимали крещение или страха ради, или из материальных расчетов.

Я не вижу никакой необходимости оправдываться в том, что я написал, хотя и для оправдания моего мне, может быть, стоило бы только отослать этих критиков к двум небольшим сочинениям блаженного Августина: «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus». Там они могут найти у этого великого христианского философа готовые ответы на укоризны, делаемые ими мне за моих «тенденциозно вымышленных героев». Но дело-то в том, что в упомянутом небольшом моем сочинении совсем и нет никакой тенденции и даже очень мало вымысла, а почти все – настоящее происшествие, весьма немного развитое только в некоторых деталях, и то по готовой канве.

Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ, есть не кто иной, как недавно скончавшийся архиепископ ярославский, высокопреосвященный Нил, который *сам* рассказывал это *бывшее с ним* происшествие поныне здравствующему и живущему здесь в Петербурге почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К-ву. В. А. К-в сообщил этот случай мне как прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора «Буддизма», а я только воспользовался этим материалом. Но, может быть, небезынтересно будет знать, что этот рассказанный мною случай, в котором всего замечательнее, конечно, взгляд архиерея, далеко не единичен в своем роде, и чтобы доказать это, я хочу теперь рассказать другое, близко мне известное происшествие, всех участников которого я уже буду называть их настоящими именами.

## II

Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве, под начальством Алексея Кириловича Ключарева, который впоследствии служил директором департамента государственного казначейства и был известен как «службист» и «чиновник с головы до пяток». Его боялись в Житомире, боялись в Киеве и только перестали бояться в Петербурге, где этот суровый и сухой формалист почувствовал, что он тут не к масти козырь, и вскоре по удалении от дел скончался. Он происходил из духовного звания, воспитывался в духовных учебных заведениях и был по натуре бурсак самого крепкого закала. Он был неутомим, деловит, логичен, сух, любил во всем точность и не обличал слабостей сострадательного сердца. Правда, он очень любил свою комнатную белую собачонку с коричневыми ушами; целовал ее взасос в самую морду; бывал в тревоге, когда она казалась ему грустной, и даже собственноручно ставил ей промывательное; но я никогда не видал, чтобы в его сухом, почти жестоком лице дрогнул хотя один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника или стриг в рекруты малолетних еврейчиков, которых тогда брали на службу в детском возрасте.

Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Закон позволял приводить в рекруты детей не моложе двенадцатилетнего возраста, но «по наружному виду» и «на основании присяжных разысканий» принимали детей и гораздо моложе, так как в этом для службы вреда не предвиделось, а оказывались даже кое-какие выгоды – например, существовало убеждение, что маленькие дети скорее обвыкались и легче крестились.

Пользуясь таким взглядом, еврей-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче.

Какими душу разрывающими ужасами все это сопровождалось, об этом не дай бог и вспомнить! По всем еврейским городам и местечкам буквально возобновлялся «плач в Раме»: Рахиль громко рыдала о детях своих и не хотела утешиться.

К самой суровости требований закона, ныне – слава богу и государю – уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательною строгостью, то разбирать было некогда и неочередные принимались «во избежание недоимки» с условием перемены впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. «Записано, и с рук долой». Принятое дитя засылали в далекие кантонистские батальоны, и бедные родители не знали, где его отыскивать, а к тому же у рачительных партионных командиров, *по-своему* радевших о христианстве и, вероятно, тоже *по-своему* его и понимавших, значительная доля таких еврейчиков оказывалась окрещенными, прежде чем партия приходила на место, где крещение производилось еще успешнее. Словом, ребенок, раз взятый от евреев-родителей, был для них почти что навсегда потерян.

Очень многих из этих жидочков крестили еще и до выступления партий из Киева, чем особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора, княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова (рожденная кн. Щербатова).

Самая вопиющая несправедливость при сдаче детей заключалась в том, что у них почти у всех без исключения никогда не бывало метрических раввинских выписей, и лета приводимого определялись, как я сказал, или наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми «присяжными разысканиями», которые всегда были еще обманчивее. Чту такое были эти присяжные разыскания, это весьма интересно и в своем роде может быть поучительно для некоторых мечтателей, имеющих высокое понятие о еврейской религиозности. Шесть или

двенадцать жидков *присягали* где-то, что они «достаточно знают, что такому-то Шмилику или Мордке уже исполнилось двенадцать лет», и на основании этого документа принимались в рекруты дети, которым было не более семи или восьми лет. Случаев этих было бездна. Бывало и то, что одна дюжина сынов Израиля, нанятая присягать сдатчиками, присягала, что Мордке двенадцать лет, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, под такую же присягою удостоверяла, что ему только семь лет. Бывало даже, что и одни и те же люди присягали и за одно и за другое. Это объяснялось возникновением при описываемых мною обстоятельствах особого промысла «присягателей»: из самого мерзкого отребья жидовских кагалов, так хорошо описанных принявшим христианство раввином Брафманом, составлялись банды бессовестных и грубо деморализованных людей, которые так и бродили шайками по двенадцати человек, ища работы, то есть пытая везде: «чи нема чого присягать?»

И где было «чего присягать», там при продажном приставе и продажном «казенном раввине» бестрепетно произносилось имя Егovy и его святым именем как бы покрывалась страшная неправда гнусной совести человеческой.

Вся кощунственная мерзость этого вопиющего злоупотребления именем Божиим была всем узрима до очевидности; но... дело, обставленное с его формальной стороны, не останавливало течения этого «порядка». Ни судить, ни рядить, ни заступиться за слабого при самом очевидном его угнетении не было ни времени, ни средств, ни охоты...

Да; я не обмолвился: не было уже и *охоты*, потому что в этом море стонов и слез, в котором мне в моей юности пришлось провести столько тяжких дней, – отупевало чувство, и если порою когда и шевелилось слабое сострадание, то его тотчас же подавляло сознание полнейшего бессилия помочь этому ужаснейшему, раздирающему горю целой толпы завывавших у стен палаты матерей и рвавших свои пейсы отцов.

Ужасные картины, повторяясь изо дня в день, притупляли впечатлительность даже и в не злом и в доступном состраданию сердце.

«Привычка – чудовище».

Но как нет правил без исключения, то и тут, в этой тягостной полосе моих ранних воспоминаний, есть одно исключение, с которым для меня соединяется самое светлое воспоминание о небольшом и, конечно, неважном, но, по моему мнению, в высшей степени замечательном и оригинальном происшествии, бросающем мягкий и теплый луч света на меркнувшую в людской памяти личность благодушнейшего иерарха русской церкви, покойного митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова.

Может статься, что читатель будет немножко удивлен: кое общение митрополиту с жидовским набором?! И впрямь есть чему удивляться; но чем это кажется удивительнее, тем должно быть интереснее, и ради этого-то интереса я приглашаю читателя терпеливо последовать за мною до конца моего небольшого рассказа.

### III

А. К. Ключарев, невзирая на мои юные тогда годы, назначил меня к производству набора. Дело это, не требующее никаких так называемых «высших соображений», требует, однако, много усилий. Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не осматривали), надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разьяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступающих запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов.

Канцелярия, состоящая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, все же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице – на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные; но А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня – едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду.

Легко представить: какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А. К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н. М. Кобылий, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакою человеческою жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна.

Всякий, вероятно, легко поймет, как при такой жизни у меня было мало времени для того, «чтоб сердцем умилиться, о людях плакать и молиться».

В это-то время, – может быть даже в один из самых надоедлых дней, я сидел раз вечером за своим столиком в присутственной комнате и читал одну за другою набросанные мне жалобы. Их, по обыкновению, было очень много, и большинство их – почти тождественного содержания. Все они содержали одни и те же сетования и были написаны по одному очень грустному и очень пошлomu шаблону. Но вдруг мне попал в руки листок прескверной, скомканной бумаги, на котором невольно остановилось мое внимание. От этой бумажонки так и несло самым безучастным и самым непосредственным горем, которого нельзя было не заметить, как нельзя не заметить насквозь промерзшего окна, потому что от него дышит холодом. Самый вид этой бумажонки напоминал того нищего, про которого Гейне сказал, что у него

глядела...

Бедность в каждую прореху,

И из очей глядела бедность.

Я почувствовал неотразимую потребность самым внимательным образом вникнуть в эту бумагу, но лишь только приступил к ее чтению, как сейчас же увидел, что это было почти невозможно. Невозможно было понять: на каком это было писано языке и даже каким алфавитом. Тут были буквы и польские, и русские, и вдруг между ними целое слово или один знак по-еврейски. Самое надписание было что-то вроде надписания, какое сделали гоголевские купцы в жалобе, поданной «господину финансову» Хлестакову: тут были и слова из высочайшего

титула и личное имя председателя, и упоминались «уси генерал-губернатора, и чины, и ваши обер-преподобие, увместе с флигерточаков,<sup>1</sup> и увси, кто в бога вируе».

Словом, было видно, что проситель жаловался всем властям в мире и все это устроил в такой форме, что можно было принять, пожалуй, за шутку и за насмешку, и было полное основание все это произведение «оставить без последствий» и бросить под стол в корзину. Но опять повторяю, здесь «глядела бедность в каждую прореху, и из очей глядела бедность», – и мне ее стало очень жалко.

Вместо того чтобы отбросить бумажонку за ее неформенность, как «неподлежаще поданную», я ее начал читать и «духом возмутился, – зачем читать учился». Нелепость в надписании была ничто в сравнении с тем, что содержал самый текст, но зато в этой нелепости еще назойливее вопияло отчаяние.

Проситель в малопонятных выражениях, из коих трудно было добраться до смысла, рассказывал следующее: он был «интролигатор», то есть переплетчик, и, обращаясь по своему мастерству с разными книгами, «посадал много науки в премудрость божаго слова пообширного рассуждения». Такое «обширное рассуждение» привело его в опалу и у кагала, который в противность всех правил напал ночью на домишко «интролигатора» и с его постели увлек его десятилетнего сына и привез его к сдаче в рекруты. «Интролигатор» действительно не был на очереди и представлял присяжное разыскание, что взятый кагалом сын его имеет всего семь лет; но очередь в эти дни перед концом набора не наблюдалась, а кагал в свою очередь представлял другое присяжное разыскание, что мальчику уже исполнилось двенадцать лет.

Интролигатор, очевидно, предчувствовал, что мирская кривда одолеет его правду, и, не надеясь восторжествовать над этою кривдою, отчаянно молил подождать с принятием его сына «только день один», потому что он нанял уже вместо своего сына наемщика, двадцатилетнего еврея, и везет его к сдаче; а просьбу эту посылает «в вперед по почте».

---

<sup>1</sup> „Флигерточаков“ это должно было значить „флигель-адъютант Чертков“. (Прим. Лескова.).

## IV

По обычаям, у нас существовавшим, все это ничего не значило, – и так как самого интролигатора с его наемщиком не было в Киеве, а его мальчик был уже привезен и завтра назначен к осмотру, то было ясно, что если он окажется здоров и тельцем крепок, то мы его «по наружному виду» пострижем и пустим в ход.

С этим я и отложил просьбу интролигатора в сторону с подлежащею справкою и пометою. Более я ничего не мог сделать; но прошел час, другой, а у меня ни с того ни с сего из ума не выходил этот бедный начитанный переплетчик. Мне все представлялось: как он прилетит завтра сюда с его «обширным рассуждением», а его дитя будет уже в солдатских казармах, куда так легко попасть, но откуда выбраться трудно.

И все мне становилось жальче и жальче этого бедного жида, в просьбе которого так неожиданно встречалось его «широкое образование», за которым мне тут чувствовалась целая старая история, которая вечно нова в жестоковыйном еврействе. Не должно ли было это просто значить, что человек, имевший от природы добрую совесть, немножко пораздвинул свой умственный кругозор и, не изменяя вере отцов своих, попытался иметь свое мнение о духе закона, сокрываемом буквою, – стал больше заботиться об очищении своего сердца, чем об умывании рук и полоскании скляниц, – и вот дело готово: он «опасный вольнодумец», которого фарисейский талмудизм стремится разорить, уничтожить и стереть с лица земли. Если бы этот человек был богат, ел свиные колбасы у исправника, совсем позабыл Егову и не думал о его заповедях, но не вредил фарисейской лжеправедности – это было бы ничего, – его бы терпели и даже уважали бы и защищали; но у него явилась какая-то *ширь*, какая-то свобода духа, – вот этого подзаконное жидовство стерпеть не может.

Восемнадцать столетий этой *старой истории* еще не изменили;<sup>2</sup> но я, впрочем, возвращаюсь к своей истории.

Кому-нибудь, может быть, покажется странным – почему я придавал такое значение словам интролигатора, который, будучи пристигнут бедою, очень мог нарочно прикинуться гонимым за свободу мнений?

Я это понимаю, и, конечно, случись это теперь, – подозрение, весьма вероятно, могло бы закрасться и в мою голову, но в ту пору, к которой относится мой рассказ, о таких вещах, как «свобода мнений», не думали даже люди, находившиеся в положении гораздо более благоприятном, чем бедный жидок, у которого похитили с постели его единственного ребенка. Ему не могло прийти в голову пощеголять либерализмом, который послужил бы ему скорее в напасть, чем в пользу, а это отнюдь не свойственно представителю расчетливой еврейской породы. Следовательно, я имел основание умозаключить, что слово о религии тут употреблено самым искренним образом.

Повторяю: мне стало жаль бедного интролигатора, и я вздумал ему немножко помочь. Я хотел, возвращаясь ночью домой, заехать в английскую гостиницу, где квартировал находившийся для набора флигель-адъютант, и сказать ему: не пожелает ли он вступить за бедного человека, – попросить, чтобы прием рекрут этого участка был на один день отложен.

Флигель-адъютанты, которых присылали к наборам, хотя прямо в такие распорядки не вмешивались, но их ходатайства всегда более или менее уважались. Однако и эта моя задача не годилась, потому что прежде, чем я привел свое намерение в исполнение, несчастное дело

---

<sup>2</sup> Русское законодательство имело в виду эту фарисейскую мстительность, и в IV томе свода законов были положительные статьи, которыми вменялось в обязанность при рассмотрении общественных приговоров о сдаче евреев в рекруты «за дурное поведение» обращать строгое внимание, чтобы под видом обвинения в «дурном поведении» не скрывались козни фанатического свойства, мстящие за неисполнение тех или других «еврейских обрядов»; но евреи это отлично обходили и достигали, чего хотели. (Прим. Лескова.)

бедного интролигатора осложнилось такими роковыми случайностями, что спасти его сына могло уже разве только одно чудо. И что же? чудо для него совершилось, и притом совершилось свободно, просто и легко, наперекор всем видимым невозможностям, благодаря лишь одному тому кроткому «земному ангелу», за какового многие в Киеве почитали митрополита Филарета, привлеченного сюда – к этому жидовскому делу – самым неожиданным образом и перевершившего всю жидовскую кривду и неподвижную буквенность закона своим живым и милостивым *владычным судом*.

## V

Часу в двенадцатом ночи я услышал какой-то сильный шум в огромной канцелярской зале, смежной с присутственной камерой, где я сидел один за моим делопроизводительским столиком.

Подобные беспорядки, как шум, случались, потому что ко мне, как к слишком молодому начальнику канцелярии, подчиненные мои страха не питали и особой аттенции не оказывали. Лучшими из них относительно субординации были старые титулярные советники, декорированные «беспорочными пряжками» и станицавами. Эти важные люди хотя и не жаловали меня, как «мальчишку», которого, по всем их соображениям, «в обиду посадили им на шею», но обряда ради солидничали, молодежь же, хотя и была исполнительна в работе, а вела себя дурно. Они, случалось, и резвились и потешались насчет тех же «титулярных», между которыми был один, весьма вероятно, многим до сих пор в Киеве памятный, Григорий Иванович Салько, – величайший чудак, обучавшийся у «дьяка» и начавший службу «при дьяке» и необыкновенно тем гордившийся. Он имел совершенно своеобразное пристрастие к старому канцелярскому режиму и давал всем оригинальные советы из дьяковской мудрости. Так, например, я помню, как он, заметив однажды, что я едва преодолеваю усталость и дремоту, сказал мне:

– Сделайте, как меня старый дьяк учил: возьмите у меня из табакерки щепоть табаку да бросьте себе в глаза – сон сейчас пройдет. Мы, в то время, когда еще настоящая служба была... это когда еще вас на свете не было, – все, бывало, так делали.

Этого и других ему подобных стариков легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила из терпения, причем нередко дело от шуток доходило и до драк.

Пора относительно еще весьма недавняя, но уже совсем почти невероятная.

Так и в этот раз, заслышав шум, я полагал, что мои молодцы раздразили кого-нибудь из титулярных советников и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчас же разрешиться дружным хохотом. Но дело выходило не так: я слышал, что вся моя орава куда-то отхлынула и канцелярия как будто сразу опустела.

Я встал и вышел посмотреть, что случилось. Зала действительно была пуста, свечи горели на не занятых никем столах и только в одном углу неподвижно, как мумия, сидел старейший из моих титулярных советников – Нестор киевских канцелярий, – Платон Иванович Долинский, имевший владимирский крест за тридцатипятилетнюю службу.

Этот наш Нестор был огромный, сухой, давно весь как лунь поседевший престарелый хохол, державший себя очень неприступно и важно.

Он обыкновенно никогда без крайней надобности не поднимался с своего места и не разговаривал, а если разговаривал, то ругался, и непременно по-хохлацки.

Завидев меня, он медленно взглянул сверх своих медных очков и сейчас же, сердито задвигав челюстями, начал меня пробирать:

– Що же, хйба вы не бачыте, що тут роблять: они уси побигли дывиться на скаженого жидюгу. Це же вам стыдно: який же вы старший? Идыть бо гоните их, подлецов, назад до праці.

– Какой же, спрашиваю, там взялся сумасшедший?

– А чертяка его видае, звиткиля вин взявся! Ось вон там, гдесь на сходах крутиться.

Я взял с одного из столов свечу и пошел к выходу на лестницу.

Здесь, на просторной, очень тускло освещенной террасе были все мои чиновники. Густо столпившись сплошной массой, они наседали на плечи друг другу и смотрели в середину образованного ими круга, откуда чей-то задыхающийся отчаянный голос вопил скверным жидовским языком:

– Ай-вай! спустите мене, спустите... Уй, ай, ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо он вже... там у лавру... утик... Ай, гашпадин митрополит, гашпадин митрополит... ай-вай, гашпадин митрополит, когда ж, ви же стар чоловик... ай-вай, когда же ни у бога вируете... ай... што же это такой бу-у-дет!.. Ай, спустить мене, ай... ай!

– Куда тебя, парха, пустить! – остепенял его знакомый голос солдата Алексеева.

– Туда... гвалт... я не знаю куда... кто в бога вируе... спустите... бо я несчастливый, бидный жидок... що вам мене тримать... що мене мучить... я вже замучин... спустите ради бога.

– Да куда тебя, лешего, пустить: куда ты пойдешь, куда просишься?

– Ай, только спустите... я пиду... ей-богу, пиду... бо я не знаю, куда пиду... бо мне треба до сам гашпадин митрополит...

– Да разве здесь, жид ты этакой, сидит господин митрополит! – резонировал сторож.

– Ах... кеды ж... кеды ж я не знаю, где сидит гашпадин митрополит, где к ему стукать... Ай, мне же его треба, мне его гвалт треба! – отчаянно картавил и отчаянно бился еврей.

– Мало чего тебе треба: как тебя, парха, и пустят до митрополита.

Жид еще лише завыл.

– Ай, мене нада митрополит... мене... мене не пустят до митрополит... Пропало, пропало мое детко, мое несчастливое детко!

И он вдруг пустил такую ужасающую ноту вопля, что все даже отшатнулись.

Солдат зажал ему рукою рот, но он высвободил лицо и снова завопил с жидовскою школьною вибрацією:

– Ой, Иешу! Иешу Ганоцри! Он тебя обмануть хочет: не бери *его*, лайдака, мишигинера, плута... Ой, Иешу, на що тебе такой поганец!

Услыхав, что этот жидок зовет уже Иисуса Христа,<sup>3</sup> я раздвинул толпу. Передо мною было зрелище, которое могло напомнить группу с бесноватым на рафаэлевской картине «Преображения», столь всем известной по превосходной гравюре г. Иордана. Пожилой лохматый еврей, неопределенных лет, весь мокрый, в обмерзлых лохмотьях, но с потным лицом, к которому прилипли его черные космы, и с глазами навывкате, выражавшими и испуг, и безнадежное отчаяние, и страстную, безграничную любовь, и самоотвержение, не знающее никаких границ.

Его держали за шиворот и за локти два здоровенные солдата, в руках которых он корчился и бился, то весь сжимаясь как улитка, то извиваясь ужом и всячески стараясь вырваться из оковавших его железных объятий.

Это ужасающее отчаяние, – и эта фраза «кто в бога вируе», которую я только что прочел в оригинальной просьбе и которую теперь опять слышал от этого беснующегося несчастного, явились мне в общей связи. Мне подумалось:

«Не он ли и есть этот интролигатор? Но только как он мог так скоро поспеть вслед за своим прощением и как он не замерз в этом жалчайшем рубище и, наконец, что ему надо, что такое он лепечет в своем ужасном отчаянии то про лавру, то про митрополита, то, наконец, про самого Иегошуа Ганоцри?<sup>4</sup> И впрямь он не помешался ли?»

И чтобы положить конец этой сцене, я махнул солдатам рукою и сказал: «Пустите его». И лишь только те отняли от него свои руки, «сумасшедший жид» метнулся вперед, как кошка, которая была заперта в темном шкафе и перед которою вдруг неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники – кто со смехом, кто в перепуге – как рассыпанный горох шарахнулись в стороны, а жид и пошел козлякать.

Он скакал из одной открытой двери в другую, царапался в закрытую дверь другого отделения, и все это с воплем, с стонами, с криком «ай-вай», и все это так быстро, что прежде,

---

<sup>3</sup> «Иешу Ганоцри» по еврейскому произношению значит *Иисус Назарянин*. (Прим. Лескова.).

<sup>4</sup> Имя „Иисус“ иногда произносится *Иешу*, иногда *Иегошуа* (Прим. Лескова.).

чем мы успели поспеть за ним, он уже запрыгнул в присутствие и где-то там притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыхание, но самого его нигде не было видно: словно он сквозь землю провалился; трясется, и дышит, и скребется под полом, как тень Гамлета.

## VI

Чрез минуту он был, однако, открыт: мы нашли его скорячившимся на полу у угла стола. Он сидел, крепко обхватив столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитого галунами и бахромою красного сукна, которым был покрыт этот стол.

Можно было подумать, что жид считал себя здесь как «в граде убежища» и держался за этот угол присутственного стола, как за рог жертвенника. Он укрепился, очевидно, с такою решительностию, что скорее можно было обрубить его судорожно замершие пальцы, чем оторвать их от этого стола. Солдат тормозил и тянул его совершенно напрасно: весь тяжелый длинный стол дрожал и двигался, но жид от него не отдирался и в то же время орал немилосердно.

Мне это стало отвратительно, и я велел его оставить и послал за городовым доктором; но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили в покое, он тотчас стих и начал копошиться и шарить у себя за пазухой и через минуту, озираясь на все стороны – как волк на садке, подкрался ко мне и положил на столик пачку бумаг, плотно обернутых в толстой бибуле, насквозь пропитанной какою-то вонючею коричневатую, как бы сукровистою влагою – чрезвычайно противною.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.